

РАССКАЗЫ

ДАЯНА

Заканчивался наш недельный отпуск в Венеции. Так вышло, что приехали мы в конце октября и вполне могли попасть к началу сезона дождей и наводнений. Мужа такая перспектива тревожила, а со мной случилось нечто странное: захотелось увидеть Венецию при непогоде. Возможно, с годами устают глаза от ярких масляных красок жизни, и тянет человека к акварельным пастельным тонам, когда житейские картины, как репродукции в ценных книгах, прикрыты тонкой папиросной бумагой, утоляющей буйство красок и берегущей рисунки от повреждений. Я воображала себе Венецию в дожде, прекрасные и таинственные, как женские лица под вуалью, дворцы, горбатые мостики, с которых водопадами стекает в узкие каналы дождевая вода, будоража их вековое спокойствие и затхлую тишину. Мысленно я уже шлепала по разливанному морю на пьядца Сан-Марко, заглядывала сквозь занавешенные дождем арки в темные галереи Дворца дождей и стояла на берегу Большого канала, *любясь брызгами, горами и пеной разъяренных вод*. Собственно говоря, типично петербургская картина, и на кой она нужна была мне в Венеции? Поэзия, друзья мои, венецианская непогода сильно попахивала перевозданной, самой что ни на есть натуральной, живой поэзией. Во всяком случае, мне так казалось.

Но не сбылось. Не знаю, как у итальянцев, но у россиян, с их точным и озорным умением давать клички окружающей действительности, это называется «бабьим летом», которое, едва начавшись, давно закончилось в Петербурге. А здесь в конце октября голубое небо, не тронутое червоточинами облаков, с утра до вечера неподвижно стояло над лагуной, и солнце, сменив летний разухабистый смех на нежную улыбку, приглашало к радостному, наполненному сюрпризами движению. Мы обошли и объездили весь город, нахлебались легкого, как сухое вино, ветра, стоя на открытых палубах вапоретто, наслушались песен гондольеров, не столь хорошо исполненных, сколь романтических, и *насились* в кафе «Флориан» на пьядца Сан-Марко с его неприхотливой кухней и легендарным прошлым: здесь, начиная с восемнадцатого века, *сживали* все знаменитые посетители Венеции. Ну, и мы в том числе.

И вот наступил последний день нашего венецианского «бабьего лета». Мы медленно прошлись вдоль Большого канала, а потом покатали на остров Лидо, на пляж. С утра небо изменилось, небольшая тучка в первый раз вывела на прогулку стайку мелких игривых облаков, и ветер погрубел – кто-то испортил ему настрое-

Светлана Владимировна Розенфельд – петербургский поэт и прозаик, член Союза российских писателей. По образованию – инженер-химик. Автор двенадцати книг и многочисленных публикаций в журналах, альманахах и коллективных сборниках. Один из постоянных авторов «Невы» (стихи, проза).

ние, намекнув на предстоящие в скором времени трудные будни. Но солнце ничего не хотело знать, разливало по пляжу свою легкую улыбку, и отдельные, не слишком многочисленные тела впитывали его в себя, блаженно растянувшись на берегу лагуны. Купались немногие, и мы решили не лезть в воду, а пройтись по прибрежному парку. Там-то и выяснилось, что наступила осень. Цветы еще цвели на кустах и клумбах, и сладкие запахи лета, как невидимые дымки, окутывали дорожки и лужайки, но бурные скукоженные листья летели на землю то медленно, то стремительно, шуршали под ногами, ложились на траву, и стало нам как-то тоскливо, потому что оказалось, нет в Венеции *золотой осени*, а есть только увядание и высыхание. А наши-то, российские, желтые, оранжевые, красные рожи, а наши-то разноцветные фейерверки, вспыхивающие от руки балтийского ветра, — где они? Почему нет их в этом волшебном месте, под этим румяным солнцем? Красота умирающая — это парадокс или яркий апофеоз угасающей жизни?..

— Поехали на Пьяцца, — сказал муж, и мы сразу повеселели, почувствовав себя настоящими венецианцами, которые никогда не говорят «Пьяцца Сан-Марко», а просто «Пьяцца», называя все другие площади своего города «кампо». Пьяцца — это главное место в Венеции, и никаких пояснений и дополнений не требуется.

Близился вечер. Пьяцца, и без того не слишком шумная в октябре, к вечеру опустела: разлетелись надоедливые голуби, туристы разбежались по ресторанам и кафе, только темнокожие выходцы с Востока по-прежнему приставали к редким прохожим, настойчиво втохивая свой невзрачный товар — вялые, измученные за день розы. «Per favore», — говорили они, тыча своими венниками в лицо каждому встречному, и долго не отставали, шли следом, а то и хватали за руки: «Per favore». Покупателей не находилось, некоторые отмахивались и огрызались.

Впрочем, тишина опустевшей Пьяцца оказалась относительной и объяснялась лишь огромным размером площади. По бокам же ее, впритык друг к другу многочисленные уличные кафе жили своей шумной ежедневной жизнью, и с каждого «пяточка» лилась, пела, гремела музыка на все вкусы и пристрастия: джаз, попса, неаполитанские песни и даже что-то такое из классики.

Мы уселись за столик, заказали салат «моцарелла» и вино, и в уши нам грянул маленький оркестрик, — громко, но сначала медленно, лирично. Сами собой всплыли в памяти слова: «У леса на опушке жила зима в избушке...» Ба! Это же наша, русская песня, ее пел Эдуард Хиль. Не может быть! И тут за соседним столиком произошло движение, стол закачался, опрокинулся бокал с вином, и румяный коротышка в брюках под животом и распахнутой рубашке рванул ближе к эстраде и запрыгал вприсядку, размахивая руками под убыстряющую темп музыку:

Потолок ледяной, дверь скрипучая,
За шершавой стеной тьма колючая...

Ему аплодировали и кричали «браво!», а он, раззадоренный всеобщим вниманием, алкоголем и чувством патриотизма, плясал и плясал, постепенно багровея. За столиками уже смеялись, он по-клоунски кланялся, но оркестр снова играл то же самое, и он опять плясал — жалкий счастливый человек, вырвавшийся из плена тусклой жизни на волю: людей посмотреть и себя показать.

— Пошли отсюда, — сказала я. — Не люблю, когда над нами смеются.

— Никто над нами не смеется. Ну, подумаешь, выпил мужик, расслабился. Он же не виноват, что ты русская. И разве он думал когда-нибудь, что попадет на Пьяц-

ца в Венеции? А ты разве не удивляешься сама себе? Знаешь, я сам чуть в пляс не пустился. И захотелось домой. Пойдем, купим еще сувениров, подарим знакомым.

Большинство магазинов уже закрылось, но небольшая лавочка сувениров вблизи Пьяцца переливалась огоньками витрины, приманивая поздних туристов. В помещении, впрочем, властвовала удручающая пустота, лишь в дальнем углу толстуха продавщица, пышной грудью подмяв под себя прилавок, полусшепотом беседовала с молодой посетительницей, почти вплотную приблизившей голову к ее лицу и наклонившейся к прилавку так низко, что короткая юбка, едва прикрывавшая ягодицы, подтянулась, как говорится, *по самое никуда*, обнажив великолепные мускулистые ноги непомерной длины в босоножках на столь же непомерных каблуках.

Мы молча рассматривали убогие витрины магазина с бесконечными пиноккио всех размеров, игрушечными гондолами, футболками с намалеванными черной краской силуэтами Дворца дождей, «магнитиками» с венецианскими видами, открытками и яркой безвкусовой бижутерией.

— Тут, пожалуй, и выбрать нечего, — сказал муж. — Надо было раньше соображать. А теперь где искать? Все приличные точки закрыты.

— Ой, мама мия! — воскликнула девушка, повернувшись к нам всем корпусом и едва устояв на своих предательских каблуках. — Это ж наши! — и побежала в нашу сторону, подворачивая ноги и сгибающая колени. — Вы из России? А из какого города?

— Из Петербурга.

— Ой, из Петербурга! Я-то сама там не была, но знаю — красивый город. Как Венеция. А я с-под Ростова. Вы туристы, да? А я здесь живу, уже десять лет.

— Родители привезли?

— Ну да, как же!.. Слушайте, вы здесь ничего не покупайте, ерунда одна, — понизила она голос. — Пойдемте, я отведу вас в хорошие магазины, они еще работают. На набережной, у Большого канала есть хрустальная мастерская. Вы там были? Нет? Ой, зря. Венецианский хрусталь — лучший в мире, а в этой мастерской даже показывают, как его варят. Как суп: ложат в печку разные продукты, а какие, не говорят — то ихняя производственная тайна, — тараторила она на чистейшем безграмотном русском языке. — А потом выставляют в своем музее, и можно купить, что захочешь. Правда, цены кусаются. Но у меня там есть знакомая, продаст по дешевке, из брака. Вы не думайте, не побитые, а может, какой махонький камешек в стекле застрял или пузырек. И не видать, а у них это брак. Или еще есть место, там продают головы львов с кольцами — вешать на двери. Из дорогих металлов: меди и этой... бронзы. Очень культурный салон, выполняет заказы английской королевы. Правда, правда. Для еёного дворца. Как его?

— Букингемский.

— Во-во. Цены тоже не приведи бог, но можно подобрать что-нибудь мелкое, дешево обойдется.

— Спасибо, — улыбаясь, сказал муж, разворачиваясь в сторону двери. — У нас сегодня последний день, валюту потратили, так что ни хрусталя, ни львиных голов не получится.

— Жалко, — сказала она, выходя следом за нами. — А вы ведь не торопитесь?

— Надо собраться, пораньше лечь, утром рано вставать, — уклончиво ответил мой спутник, а я поняла, что ему надоела вся эта итальянско-ростовская говорильня.

— Да ну, бросьте. Последний день в Венеции — куда спешить? Давайте посидим здесь на лавочке, видать, сегодня последний теплый денечек. И ветер потише стал. Садитесь, садитесь, соскучилась я по русским. В это время из России мало кто едет. Все на жару прутся. А жара — что? Только потеешь. Садитесь, садитесь.

Мы сели: я с интересом, муж с неудовольствием.

Девушка была на редкость хороша собой, типичная итальянка: черные, вьющиеся крупными кольцами волосы, черные глаза, маслянисто блестящие и таинственные в бликах вечернего освещения, не очень густые, но длинные стрелчатые ресницы, крупный нос и нежно загорелая кожа. Я пригляделась: ни грамма косметики, даже полные губы, которые она все время покусывала и облизывала, не тронуты губной помадой и одарены от природы тем розово-туманным цветом, которым так привлекают русские полевые гвоздики.

— Как вас зовут? — спросила я.

Она засмеялась:

— А как собачку в будке: Динкой. Но вообще-то Дианой, мама с папой выпендрились. А здесь меня зовут Даяной. Знаете почему? Потому что английское «и» с точкой по-ихнему будет «ай». Вот и получается: Даяна.

— Вы говорите по-английски?

— Не-а, зачем? Я по-итальянски чешу свободно, а надо будет, — выучу и английский. Я способная.

— Так как же вы здесь оказались?

— Ой, это длинная песня. Я, знаете, в молодости красавицей была, — она улыбнулась, показав белые крупные зубы и кокетливо смущенно прищурил глаза.

— И сейчас ничего себе, — подал голос муж.

— Ну, сейчас что говорить, мне уже тридцатник, — и опять кокетливо улыбнулась. — А раньше — другое дело. У меня ухажеров было, как грязи, а в восемнадцать лет привязался один дядечка, взрослый уже, образованный, так он говорил, что я на итальянку похожа, и называл синьоритой.

— Скорее, на испанку, — прокомментировал муж.

— Не знаю, он говорил: итальяночка моя. А тут увидела я по телевизору кино про Венецию и прямо обалдела: разве бывают на свете такие города, что по воде плавают?! Я тогда думала, что в Венеции улиц-то и вовсе нет, одна вода кругом. И представила себе, как они ездят на лодках да еще и поют, — у меня у самой голос хороший и слух, — ну, воще... И обидно так стало. Вот ведь красивая, молодая, а как живу? Да на фиг мне все эти куры, огород и мамаша с папашей, что никогда не просыхают, — и подалась в Ростов, деньги зарабатывать на турпоездку.

— Как же можно заработать в таком юном возрасте? — опять подал реплику муж, а я толкнула его ногой под скамьей: не ехидничай, мол.

— Да по-разному можно заработать, было бы желание. А подробно рассказывать не буду, зачем зря время вести, тем более что вы, видать, люди культурные, можете неправильно понять.

— Ясно, — коротко резюмировал муж, а я опять толкнула его ногой.

— Короче, через два года накопила бабок, купила путевку и покатила. Увидела — и осталась. А как жить? Гражданства нет, денег нет — беда! И тут мне повезло. Встретила парнишку одного, русского, его-то как раз мать сюда в детстве привезла. Она в «Ла Фениче» в кордебалете ногами дрыгала, правда, тогда уже к пенсии дело шло, но она и сыночка в балет сунула, и гражданство у них имелось. Мне двадцать было — так я уже взрослая женщина, а он в двадцать — телок глупый, балерун, одним словом. И влюбился в меня без памяти. Я говорю: придется нам расстаться, выдворят меня на родину того и гляди, вот если бы мы с тобой были женатые... Он обрадовался, как ребенок, в ладоши захлопал. Короче, поженились. Да только... Они, балетные мужики, не все нормальные, у них, видно, от того, что лапают за все места полуголых баб — в смысле в танце, — инстинкты уродуют-

ся, вот и потянуло его не в ту сторону, остренького захотелось. Понимаете, да? Ну, и ушла я от него, а сама беременная...

— Н-да, ситуация, — изрек муж.

— Так у вас есть ребенок?

— А как же! Дочка, девять лет, тоже красавица. Вся в мать. Но, конечно, правильно ваш мужчина говорит: ситуация фиговая. А я оптимистка. Устроилась на стоянку лодок около Пьяцца. А там один гондольер меня приметил и пожалел. Говорил потом: пожалел тебя за твою красоту. А может, и правда. Мало ли почему люди друг друга жалеют? Он хороший человек, уже тогда был немолодой и очень порядочный: и жена у него, и дети, и любовница не какая-нибудь шаромыжка, а официантка в «Флориане». И вот услышал он, как я что-то такое напеваю, и говорит: ты очень музыкальная девушка. А сам-то он так пел, что заслушаешься, ему бы и в «Ла Скала» петь не грех. А он у нас гондольером. Так за его баркаролы туристы денег не жалели и даже специально заказывали: пусть Марио нас катает. И вот он дал мне гитару, аккордам кое-каким научил и брал иногда с собой в лодку. Сколько зарабатывали — вам не передать! Смешные все-таки люди. За песню готовы без порток остаться. Плотят и плотят. Представляете? Но, конечно, за так ничего в жизни не делается. Иногда приходилось оказывать ему внимание, но это раньше, сейчас-то он постарел, на женщин не заглядывается и теперь просто мне помогает, будто я его дочка: квартиру помог снять, мою красавицу в хорошую школу устроил и так, по мелочи. Живу неплохо, дай бог каждому...

Как из-под земли, перед нами вдруг вырос высокий тощий парень в дырявых джинсах и майке. Похожие на гнездо светло-русые кудрявые волосы, сероватым оттенком намекающие на редкость встреч с шампунем и водой, сзади были убраны в короткий подрагивающий хвостик, придававший всему его облику настороженно птичье выражение.

— Ну что, Динка? Сколько тебя ждать? — не взглянув на нас, спросил он по-русски с легким акцентом неизвестного происхождения.

Даяна улыбнулась своей светлой улыбкой, повернулась к нам и представила пришельца со всей возможной светскостью.

— Познакомьтесь, господа. Это мой друг, здесь его зовут Джон, а настоящее имя выговорить не могу. Он из Сербии... Сейчас, Джонни, иду, это русские туристы. Пообщались немножко.

Мы поднялись.

— Стойте, — сказала Даяна. — Вы ведь в отеле проживаете? Это ж полное разорение.

Из маленькой сумочки через плечо она достала какой-то счет и карандашик и быстро-быстро начиркала на оборотной стороне текст острыми прямыми буквами.

— Вот, держите. Это мой адрес. Вы ведь обязательно еще раз приедете, точно говорю. Так напишите мне заранее, я вас у себя поселю или другое место найду, у друзей. Бесплатно!

— Спасибо, — сказала я, безуспешно пытаюсь прочесть это волшебное письмо.

— Ладно, — бодренько сказала девушка. — Да свиданьца пока. Приятно было познакомиться. Пошли, Джонни...

— Ну что, будешь ей писать? — насмешливо спросил мой невыносимый муж.

— Даже и не подумаю.

— И правильно сделаешь. Наша итальянская мадонна — наркоманка, правда, начинающая, а вот ее Джонни сидит крепко — это я тебе как врач говорю — и ее за собой тянет. Торгуют, наверно, этой дрянью.

— Да брось ты! Почему обязательно торгуют?

— А о чем, ты думаешь, она шепталась с толстухой в магазине? Дела свои обтяпывала.

В полной растерянности я обернулась и увидела всё ту же парочку прямо на гребне мостика через канал. Даяна что-то говорила, размахивая руками и при-танцовывая, а кудрявый Джон молча качал головой, засунув большие пальцы рук в карманчики джинсов на животе и глядя в землю. Потом вяло кивнул, и она бросилась вниз по мостику, часто-часто перебирая ногами и спотыкаясь на своих угрожающе эффектных каблуках.

— Подождите, подождите! — кричала она.

Мы остановились.

— Слушайте, ведь еще не поздно. Пойдемте к нам, посидим, хорошего вина выпьем, русские песни попоем. А?

— Нет, нет, спасибо, — строго сказал муж. — Мы очень устали. Какие могут быть гости?

Она умоляюще посмотрела на меня, но я только развела руками...

Мы молча приближались к своему отелю. Усилился ветер, и небо опустилось совсем низко: вот-вот и сольются две водные стихии — земная и небесная. Я смотрела в это низкое небо, беспокойное и такое близкое, что там наверняка могли меня услышать. «Господи, — взмолилась я, — помоги этой русской венецианке Даяне, права она или неправа, грешна или безгрешна. Помоги ей, Господи, хотя бы за то, что не захотела быть дворовой собачонкой Динкой, порвала цепь и отважно помчалась на поиски иной жизни, не имея при себе ничего, кроме кучки сомнительно заработанных денег и линялого флажка надежды, с которым так лихо сочетается воинственный клич: *вперед!* И еще потому помоги ей, Господи, что, кроме тебя, кто же ей поможет?..»

ОЧКИ

Дом был высокий, шестиэтажный, старый, но вполне приличный с виду и гармонично вписывался в строгую линейку домов в центре Невского проспекта. Лет тридцать назад его капитально отремонтировали, почистили пескоструем и вставили новые высокие окна. Тогда же произвели внутреннюю перепланировку, ликвидировали коммунальные квартиры и поселили в новых отдельных гнездышках достойных людей, о чем свидетельствовали латунные таблички на некоторых, обитых дерматином дверях: «профессор И. П. Ивановский», «стоматолог А. Ф. Фридман», «архитектор Д. М. Тищенко» и пр. Чуть позже дом ошастливили лифтом, крошечной коробочкой с лазоревыми стенами, которые со временем посерели, покрылись болячками отслоившейся краски и даже украсились некими непечатными надписями, выполненными явно детскими руками, — свидетельство того, что высокий родительский статус вовсе не гарантирует детскую воспитанность. Впрочем, лифт работал исправно, а его внутренний вид иногда подновлялся, но так поспешно и незаинтересованно, что предательские надписи пробивались сквозь новую краску, как древние фрески, пополняясь новыми фантастическими текстовками. В общем, это был обычный, совершенно типичный лифт старого дома в центре города, с одной только небольшой особенностью: последняя остановка транспортного средства находилась на пятом этаже, а на последний, шестой, усталый путник должен был добираться по лестнице пешком. Шестой этаж, который

жильцы из поколения в поколение именовали «голубятней», был, по-видимому, пристроен позже и вид имел куцый, как бы нежилой: частые небольшие окошки, железные проржавевшие козырьки треугольной формы и узкая металлическая площадка под окнами, которая осенью звенела от ветра, летом оглушала барабанной дробью дождя, а зимой прогибалась и стонала под снегом. Этот последний, шестой этаж был единственным в доме, где после капремонта остались коммунальные квартиры: две двери твердо и непоколебимо смотрели в лицо друг другу, пряча за своей спиной две малонаселенные — как испокон принято, буйные, без свидетелей — квартиры, в каждой из которых в двух комнатах, площадью по восемнадцать квадратных метров, проживали две семьи, и ничего лучшего им не светило.

Впрочем, квартира номер шесть, где родилась и много лет прожила Вика, буйной не числилась, потому что отношения внутри каждого коллектива определяются его духом, а дух, в свою очередь, порождается человеком. Духовным лидером, духовным санитаром и оздоровителем квартиры номер шесть всегда оставалась Валентина Петровна, мама Вики, и хоть менялись несколько раз соседи, и старые селились, и молодые, но никогда не возникало в мирном квартирном оазисе ни конфликтов, ни ссор, ни тем более драк. И в этом состояла мамина невидимая, казалось бы, заслуга. Она не была дирижером или первой скрипкой в маленьком коммунальном оркестре, но она была *мелодией*, в которой не находилось места ни одной грубой или фальшивой ноте.

Что такое должно содержаться в человеке, чтобы его аура распространялась на окружающий мир, облагораживая его и подавляя присущие жизни безобразия? Ничем особенным Валентина Петровна не отличалась: ни редкой красоты, ни властности характера или блеска ума, ни престижной должности на службе, вызывающей в обывателях почтительный трепет. Обычный бухгалтер — ах нет, *старший* бухгалтер, — умеренная зарплата, негромкий голос, простое лицо из тех, что не обращают на себя внимания и характеризуются неконкретным эпитетом «симпатичное». Но были принципы. Не сформулированные умом и не навязываемые человечеству как единственно правильный способ существования. Принципы Валентины Петровны касались ее самой и составляли ее неотъемлемую часть, как почерк, походка или отпечатки пальцев. Может быть, в естественности, ненавязчивости и одновременно очевидности принципов и состояла тайна ее гипнотического воздействия на людей? Впрочем, какие такие принципы?

Если говорить о быте, то принцип был один и давно сформулирован советской властью: соблюдать правила социалистического общежития. Со временем красивое слово «социалистическое» скукожилось и отпало, а общежитие и его правила остались. Их она и соблюдала, невольно заражая своей верностью соседей. Такая благостность вовсе не исключала возможности прекращения отношений и прерывания дружбы, — но спокойно, без склок, а лишь путем объяснения своей личной позиции.

Что касается отношений с дочерью, то есть Викой, то в них присутствовала та невидимая на первый взгляд любовь, которую иные принимают за холодность, а то и за равнодушие: без нежностей, без поцелуев и объятий, без суетливого желания услужить рано лишившейся отца девочке, чтобы потом бросить в лицо подросшему ребенку: *я тебе всю жизнь отдала!* Ну, отдала, ну, отказалась приводить в дом нового папочку, но в жертву себя не принесла, а жила, как ей было удобно, то есть так, как было удобно ей и дочери. Требования, запреты, наказания, конечно, случались, но редко, потому что существовало понимание, умение выслушать, объяснить и скорее разрешить, чем запретить, попросить, а не потребовать, огорчиться,

а не наказать. Ну да, принципы, — но не ума, а души, и тогда опять получается чистая нефальшивая мелодия.

Когда Вика, уже беременная, привела в их комнатенку молодого лейтенанта из сибирской глубинки, Валентина Петровна распахнула руки и с несколько напряженной улыбкой воскликнула: *welcome!* — что (для непосвященных) означало *добро пожаловать*, но по-русски в данных условиях звучало бы неискренне, а по-английски очень даже забавно. И вот, как в теремке из сказки, стали они жить вторым, потом четвертым, пятым, постепенно сужая свободное пространство комнаты, но не сближаясь друг с другом до ссор и не отдаляясь до холодной неприязни. Мелодия духа...

Лейтенант оказался головастым, рукастым и ногастым и уверенно зашагал по крутым ступеням служебной лестницы, дошагался до полковника и получил трехкомнатную квартиру в спальном районе, а принципиальная мама, дабы не мешать молодым (правда, к тому времени уже не совсем молодым), осталась в своей комнате на шестом этаже в центре родного Петербурга — интеллигентная пенсионерка с прямой спиной, в элегантной одежде (секонд-хенд, после тщательного отбора), с седыми, аккуратно уложенными волосами и в красивых очках в темно-коричневой оправе, демонстрируя всем своим обликом еще один незыблемый принцип: *старость не должна быть уродливой...*

После похорон Вика приходила к маме каждый день. Она заканчивала работу в школе в три часа, садилась в автобус, потом пересаживалась на метро и от станции «Невский проспект» бежала к дому целых две остановки, хотя можно было доехать на троллейбусе. Но этот кусочек Невского, давно изменившийся, обновленный, испещренный вывесками на русском и английском языках, сияющий роскошью витрин, световыми рекламными тумбами и перечеркивающими небо баннерами на проводах, оставался для нее обязательной частью маршрута, как первый двор в анфиладе проходных дворов старых петербургских построек. Она пробегала по Невскому, резко дергала на себя тяжелую новую дверь и ненадолго оставалась в полутьме парадной. Да пятого этажа можно было, конечно, добраться на лифте, но она делала глубокий вдох и начинала медленный подъем по лестнице — домой.

Лестница оставалась прежней, разве что чисто вымытой, но латунные таблички на дверях потускнели, и их стало меньше, а сами двери посуровели, сбросили свои дерматиновые фуфайки и приоделись в дубовый камуфляж с разводами и оттенками. Кажется, некоторые этажи полностью закуплены какими-то уважаемыми гражданами и превращены в личные апартаменты за железными, отделанными деревом дверьми. На таких дверях таблички с фамилией и родом занятий хозяина вешать неразумно, а разумно вставить «глазки» и надежные, хитрые, на много ключей запирающиеся замки.

А шестой коммунальный этаж жил своей, как бы отдельной жизнью, и никому не было до него дела, хотя грозный шаг марширующей по Невскому проспекту частной собственности вполне мог упереться в «голубятню», чтобы превратить ее в нечто экзотическое, соседствующее с небом и романтическое. Для жильцов же это означало бы, конечно, переселение и улучшение условий быта. Валентина Петровна такого счастья не дождалась...

Добравшись до «голубятни», Вика открывала простой французский замок входной двери, потом такой же замок, условно запирающий комнату, и замирала на пороге, *останавливаемая* прямым бликующим светом, бьющим со стороны маминой

кровати. Там, на тумбочке, на раскрытой книге лежали мамины очки, вернее, не лежали, а стояли, опираясь на дужки, словно приподнявшись на цыпочки, — как будто читавший человек снял их на секунду, чтобы, скажем, протереть глаза или смахнуть ресницу с века, поставил на книгу, не складывая, потому что всего на секунду, — и в эту секунду дверь жизни захлопнулась.

Когда в первый день после похорон Вика, как в тумане прожившая случившийся ужас, вернулась в комнату, она как бы споткнулась о блеск стоящих на книге очков, этой неотъемлемой детали живого маминого облика. Она споткнулась, рухнула на стул, и очки смотрели на нее увеличенными за линзами, а потому огромными, пронзительно мудрыми глазами. А потом ей привиделось легкое движение руки, спускающей оправу на кончик носа, и взгляд поверх очков, внимательный и насмешливый: *Ну что? Опять опростоволосилась, девочка моя?* А потом он же, сосредоточенный, серьезный: *Ну, как же нам поступить, девочка моя?* А потом он же, усталый, больной: *Всё в порядке, девочка моя.*

Вика вскочила со стула, примерила очки на себя, как будто прижалась к родному лицу. У нее было плохое зрение, но эти линзы еще не подходили, комната помутнела и завертелась. *«Ты еще молодая, не торопись, всё увидишь, но позже, позже...»*

Она хотела убрать очки в футляр и спрятать, но не смогла окончательно выселить маму из комнаты. Так и приходила каждый день, усаживалась на стул и мысленно разговаривала с пробивающимся сквозь линзы взглядом напротив, вспоминала эпизоды из прошлого, сожалела о своих проступках и всё больше понимала, что слишком мало знает о маме, никогда не отягощала себя этим знанием — и теперь пыталась разобраться, что же таится там, в глубине бликующих линз, что придает ей силы и помогает переносить горе...

На девятый день очки исчезли. В этот день, когда, как считается, душа умершего окончательно покидает землю, вся семья собралась в комнате на «голубятне» — помянуть. Вика, озабоченная сервировкой стола, не сразу посмотрела в спальный угол и, лишь когда подняли рюмки, обратила взгляд к маме и закричала в ужасе:

— Где очки?!!

— Какие очки? — спросил муж.

— Здесь, на тумбочке, были мамины очки. Их нет. Кто взял?

— Никто не брал, — ответила дочь. — Мы сюда и не заходили. Ты, наверно, сама куда-то спрятала.

— Я не прятала! — истерически кричала Вика. — Они все время были здесь, а теперь нет. Кто взял?

— Успокойся, мама, — сказал сын. — Давай помянем бабушку, а потом ты подумаешь и вспомнишь.

Она потом долго думала, вспоминала и искала. Не вспомнила, не нашла. А через несколько лет, когда один успешный человек добрался-таки до «голубятни», чтобы превратить ее в студию художника, пришлось Вике разбирать старые вещи. В углу старинного платяного шкафа обнаружилась коробочка, давняя хранительница семейных реликвий, милых, дорогих сердцу пустяков: детские штанишки и кофточка, старые игрушки и елочные украшения, стопки похвальных грамот Вики, ее первые, совсем светлые волосики в бархатной коробочке от какого-то кольца, мамины летние перчатки из искусственных кружев, Викины детские рисунки и много других вещиц, столь же ценных, сколь и бесполезных. Нашлись и очки, утонувшие под тяжестью футляра на самое дно коробочки.

Вика недоуменно вертела их в руках, не в силах вспомнить, когда, в какой момент, в каком состоянии она все-таки убрала и спрятала в коробку эту бесценную

вещь. Она надела очки, и теперь линзы соответствовали ее зрению, она ясно, детально видела всю комнату, обставленную прабабушкиной, но хорошо сохранившейся мебелью. Трюмо поблескивало поврежденной кое-где амальгамой, но хранило чистоту и гладкость качественно сработанного изделия. Вика посмотрела в зеркало и в первый миг отшатнулась, встретившись взглядом с мамой. Однако взгляд за стеклами был другой, не мамин: ни мудрости, ни понимания, ни спокойной, обреченной любви к жизни. *Еще не вечер, ты еще многое поймешь, не грусти, девочка моя...*

Вика сняла очки, уложила в футляр и поместила в коробку, которую она возьмет с собой.

Вещи из прошлой жизни... Законсервированная память хранится долго, а потом... Потом превращается в засахаренное варенье, которое в конце концов выбросят, не потому, что оно потеряет свой вкус и аромат, а потому, что некому будет его пробовать...